

Расстрельная папка

Сегодня Никитична не решилась перейти Вынцу по шатким мосткам. Вода в реке после дождей была беспокойна, вздувалась, бурлила, била по доскам. Никитичне пришлось вернуться назад и дойти до того места, где река сужалась. Там подъем на соседний склон оврага был круче, но другого пути не было.

Никитична остановилась, взялась за края платка и перевязала его так туго, что платок врезался в горло. Потом, прижав к себе пожелтевшую папку, на которой было написано «Дело №», начала медленно подниматься. Свободной рукой хватаясь то за корни, то за ветви кустарника, боясь оглянуться, она то и дело останавливалась, чтобы перевести дыхание. Наконец выбравшись на пологое место, тихо пошла по тропе, думая о том, что же она должна была бы ответить вчера Катерине, когда покупала у той шоколадку для Павла.

Катерина, которую на селе в глаза называли Екатериной Алексеевной, а за глаза – Гудковой, когда-то работала в райкоме, директорствовала в местной школе. Теперь же, став продавщицей в единственном тут магазине, так обиделась на новое время, что ее уставшее лицо приобрело брезгливо-скорбное выражение, которое менялось только тогда, когда в магазин входил кто-то из покупателей, и к этой скорбной брезгливости добавлялось еще что-то надменное. В магазине она обычно скучала, привалившись тяжелой грудью к прилавку и подперев мясистой рукой щеку. Вчера, когда в магазин вошла Никитична и попросила шоколадку, она, презрительно улыбнувшись, поинтересовалась: уж не своему ли психу та собирается ее нести. Услышав в ответ, что – да и пожалеть его надо, Катерина гневно вспыхнула и, зло посмотрев на Никитичну, будто та была перед ней в чем-то виновата, выпалила:

– Его государство кормить должно, а не бабки столетние. Или этому государству теперь на всех начхать?! – и кинула на прилавок соевую плитку.

Когда же Никитична сказала, что ей такая не нужна, что ей нужна настоящая, возмутилась еще больше:

– Настоящую для психа?

– Он не псих, Катерина. Вот смотри, – Никитична протянула продавщице папку.

– Что ты мне папку тянешь? – ухмыльнулась Гудкова.

Взяв папку в руки, открыв ее и увидев пожелтевшие от времени листы бумаги, Гудкова воскликнула:

– Так ведь здесь ничего нет!

– Будет. Он сюда все напишет.

– Что он напишет? Что он написать-то может? – спросила Гудкова.

– Историю нашего царя.

– Твой сумасшедший?

– Он не сумасшедший, он писатель, – твердо сказала Никитична, забирая папку с прилавка, – Катерина, дай мне вон ту шоколадку, ту, самую дорогую.

Отсчитав деньги, Никитична спрятала плитку в карман и уже собралась уходить, как вдруг Гудкова, побледнев, неожиданно ловко перегнулась через прилавок. Никитична невольно отшатнулась, рука Гудковой повисла в воздухе, и только тут Никитична поняла, что Гудкова хотела вырвать у нее папку.

– Ишь, до чего они дошли! Теперь уже психи про царей пишут! Историю переписывают! – кричала Гудкова вслед спешащей прочь от магазина Никитичне.

Гудкова кричала что-то еще, но Никитична уже не слышала ее слов, а только шла, прижимая к себе папку и удивляясь той злости, которая исходила из Катерины. Она вдруг вспомнила, что так же когда-то в двадцатых годах ненавидели в их деревне комиссара, который квартировал у нее некоторое время.

Он был вовсе не так плох, как о нем говорили. Молодой, курчавый, с блестящими, почти черными глазами, он в присутствии хозяйки, тогда молодой девки, отвечал невпопад, все благодарил за что-то.

Когда узнал, что хозяйка любит музыку, сказал, что привезет из барской усадьбы пианино, только не привез, поскольку деревенские мужики изрубили это самое пианино на дрова. Пианино он не привез, зато привез ей музыкальный сундучок с крышкой, весь в узорах. Когда Никитична открывала крышку, в сундучке звучала музыка.

Она помнила, как комиссар пристально разглядывал фотографии, развешенные по стенам ее избы. Он подолгу стоял перед фотографиями родственников Никитичны, спокойных, уверенных в себе крестьян; героев турецких войн с обнаженными шашками, словно пытаясь понять природу их силы и отваги. Иногда, глядя на снимки, он с недоумением смотрел на Никитичну, показывая глазами на какой-то из снимков, и она думала, что он хочет ее о чем-то спросить. Однако комиссар молчал. Наверно, стеснялся. Чаще всего комиссар останавливался возле фотографии царя. Он пристально рассматривал его лицо, глаза, уставшие руки... Никитична заметила, что когда комиссар впервые взглянул на фотографию, то покраснел, вздрогнул и быстро вышел из горницы.

На людях же этот застенчивый паренек, замечая недовольство местных новыми порядками, вытаскивал наган и начинал кричать:

«Всех вас перепису, контра! Все под расстрел пойдете!»

После этих-то слов и пошли в деревне слухи о расстрельной папке, в которой комиссар строчит списки неблагонадежных. Поговаривали, что прячет ее где-то у себя дома. Спрашивали об этом Никитичну, и она честно отвечала, что никакой папки не видела. В деревне ходили слухи, что мужики собираются бить комиссара, только все никак не могут решиться.

И все же на Пасху комиссара убили. Как раз в то время, когда Никитична христосовалась с дальними родственниками в другой деревне.

Вернувшись домой, Никитична увидела своего квартиранта, лежащего на полу в луже крови. Закричала. Бросилась к нему и заплакала от бессилия.

Через день-два понаехали красноармейцы на подводах, и в селе стало пусто и тихо. Прикрыв окна ставнями, все затаились в избах. Никитичну допрашивал следователь, но не слишком строго, а она только плакала и все никак не могла успокоиться.

Комиссара хоронили в полдень. На кладбище согнали народ. Только Никитична пришла сама, по своей воле. Солдаты салютовали из винтовок. А ночью на том же кладбище, где похоронили комиссара, расстреляли несколько мужиков. После этого деревенские стали коситься на Никитичну: уж не она ли сдала мужиков. А она плакала и боялась поднять на односельчан глаза.

Спустя месяц, когда Никитична собралась побелить печь за притолокой, наткнулась на папку, которую раньше не видела. Вспомнив рассказы о расстрельной папке, она решила, что никому ее не покажет, и уже собралась бросить в печь, однако решила прежде открыть. В папке оказались только листы белой бумаги.

Вот тогда-то она и положила папку на дно музыкального сундучка, где та и пролежала все эти годы.

Припоминая эту историю, Никитична гнала от себя еще одно страшное видение, которое после похорон комиссара не отпускало ее. Тогда, на кладбище, подойдя к гробу, она сначала удивилась тому, что гроб такой большой, а комиссар маленький. Потом с недоумением посмотрела на его почти детское лицо, на белую рубашку, которой было слишком много, и казалось, что хоронят не человека, а рубашку, снизу прикрытую кумачом. Никитична тогда почему-то вдруг захотела подойти и поцеловать комиссара в лоб, но там стояли красноармейцы, и она не посмела. Стоя в ногах покойного, она вытягивала шею, чтобы лучше увидеть его лицо, но взгляд все время натыкался на носы сапог, в которые был обут покойник. Она с недоумением смотрела на красные подошвы, на следы рыжей глины, забившейся между каблуком и подошвой, и ей показалось, что она уже когда-то видела эти сапоги с красной подошвой. Прощаясь с комиссаром, она дотронулась до его ноги, как когда-то ее учила мать...

Спустя несколько дней, на Радоницу, она зашла на могилу красавца-барина, убитого на Империалистической, и увидела, что мраморное надгробье валяется в стороне, а на могилу наброшены комья свежей, еще не осевшей рыжей глины. Потом ей объяснили, что комиссара хоронили в барском гробу и в барских сапогах.

Никитична поморщилась, как будто от боли, вспоминая живого и мертвого комиссара, его похороны...

Переведя взгляд в сторону, в какой уже раз отметила, что все кругом заросло: и улица, и овраг, и колхозные поля, а рыжий косогор, на котором когда-то стояла церковь и было старое кладбище, краснел ничем не прикрытой глиной.

Ей припомнилось, как ломали их здешнюю церковь, и как баба Феша вдруг повалилась на землю и закричала: «Антихрист пришел!»

Из битого кирпича этой церкви тогда задумали построить школу, но то ли кирпич не подошел для школы, то ли школа кирпичу не понравилась. Отвезли кирпич в соседнее село и кое-как слепили из него коровник – в который как коров ни загоняли, так они и не вошли. А на кладбище почему-то хоронить запретили, и деревенские стали хоронить своих на соседнем холме.

Когда все кресты на погосте сгнили, остался только металлический пилон с пятиконечной звездой над могилой того самого комиссара. Но и пилон однажды сгинул. Поговаривали, что местная молодежь сдала его в скупку.

Ни дерева, ни кустарника, ни травы...

Однако Никитична по-прежнему нет-нет, да и крестилась, глядя на невидимую церковь. Вот и сейчас перекрестилась, и отправилась дальше.

Дикий татарник хватал Никитичну за подол, и она удивлялась, что натопанная годами тропа заросла. Когда-то очень давно здесь было поле. У родителей мужа на нем росла то пшеница, то гречка, а в последний год перед тем, как случилось то, что старики так до смерти и не смогли понять, слепили глаза подсолнухи.

Потом вышла к березовой аллее, которую когда-то сажала на субботнике вместе со своими детьми, прошла мимо школы, посмотревшей на нее провалами окон, и вышла к станции.

Пройдя мимо кирпичного вокзала, построенного как раз в тот год, когда царь ездил в Саров, она вспомнила, как торжественно, с молебном у иконы Николая Чудотворца,

открывали это здание, как шли крестным ходом от самой близкой церкви; вспомнила господских девочек в белых платьях с кружевными белыми зонтиками.

А как тогда ждали царя! Все почему-то решили, что он должен проехать здесь именно сегодня. Чтобы только не пропустить царев поезд и встретить его проезд гимном, певчие из их церкви даже заночевали в шалаше возле здания вокзала. С утра к станции повалил народ из окрестных деревень. С нетерпением всматривались вдаль, прислушивались... Но только в тот день царь так и не проехал. Его поезд через пару недель, когда мужики и бабы гурьбой возвращались с сенокоса, слегка сбавив скорость и прогудев, проехал мимо станции. Вот тогда-то в окнах одного из вагонов мелькнули барышни в белом и мужчина в белом с золотом.

– Это царь! – сказала мать.

На этот же вокзал спустя несколько лет привезли тело барского сына, красавца, и они всей деревней ходили на него смотреть. Бабы голосили. А мать почему-то все подталкивала ее к гробу:

– Дотронься до его ноги. Тогда покойников бояться не будешь, – шептала она, пробираясь сквозь толпу. – Ноне покойников много будет.

Никитична припоминала, что она пошла было к гробу, но какой-то офицер не пустил. Когда же он отвернулся, ей все-таки удалось дотронуться до ноги красавца, и она увидела красную подошву его сапога.

2

Прошептав: «Господи, помилуй!» – Никитична осторожно перешла через железнодорожные пути и направилась к одноэтажному барaku, где помещалась психиатрическая лечебница.

За отвалившимися кусками штукатурки фасада лечебницы открывался темно-красный осклизлый кирпич, пропитанный сыростью. Часть окон была забита досками.

Подходя к лечебнице, Никитична невольно вспомнила то тяжелое время, начало девяностых. Все тогда вокруг вроде было спокойно, не было войны, но вагоны поездов

проезжали с разбитыми окнами, а у них, на бывшем колхозном дворе, коровники стояли без крыш, а в эту лечебницу перестали завозить продукты.

Многие остались без работы, подались кто куда за куском хлеба. Был даже момент, когда главный врач лечебницы, Владимир Николаевич, остался один – как когда-то в голодном сорок шестом. Владимир Николаевич любил повторять, что если бы тогда не Никитична – сбежал бы.

А Никитичне удалось успокоить Владимира Николаевича и накормить больных. Правда, для этого ей пришлось ходить по вагонам электричек и просить милостыню.

Никитична всегда была для этих больных даже не сиделкой, а родной матерью. Потому не могла без боли смотреть, как санитары обращаются с ее подопечными.

Особенно тяжел на руку среди санитаров был Алексей, брат Гудковой.

Любого больного он мог схватить за шиворот и оттащить в палату для буйных, где больного привязывали к кровати, вводили магнезию. За пролитый суп, несвоевременное посещение туалета и вообще за любоеслушание. Даже Виктора, обычно тихого и покорного, которого все тут называли Шапочкой.

Вспомнила Никитична, как в те годы у больных тащили последнее.

Как-то она столкнулась с поварихой Евдокией. Та шла из столовой с полными сумками в руках.

– Ты что же у несчастных изо рта тянешь? – остановила ее Никитична. – Они и без того впроголодь живут.

– Ташу. На, гляди, что-глаза-то отводишь!

Никитична потупила взор. «Наверно, дочке несет, – подумала она. – Дочка у нее после Чернобыля все болеет. И внучка у них прозрачная, как бацилла. И все есть хотят... Нет, тут судить нельзя.»

Никитична не раз наблюдала за тем, как Евдокия приводит на работу внучку, одетую в какие-то обноски, сажает ее рядом с кухней, и та сидит безропотно, дожидаясь бабку.

Конечно, брать у больных – большой грех, размышляла Никитична, но ведь психическим этим хоть что-то от государства достается, а у Евдокии на руках больная дочь да внучку поднимать надо, а средств ей взять неоткуда. Зарплату какой месяц не платят... Она своих спасает. Нет, тут судить невозможно, а я вот осудила...

Никитична никак не могла решить для себя, что же со всем этим делать и как быть, когда всем надо помочь, а на всех не хватает. Так ничего и не придумав, решила, что рано или поздно уйдет из лечебницы, чтобы не разоряться и не осуждать человека.

И в начале двухтысячных, когда в лечебнице вновь появились медсестры и санитары, да еще завхоз с бухгалтером, она ушла отсюда – вернулась к себе, в свою жизнь, где было тихо и покойно, куда раз в году на пару недель из города приезжали внуки и правнуки и наполняли ее существование криком, смехом и плачем. С улыбкой глядя на них, она думала, что как же все теперь хорошо, что теперь и умирать можно. Но как только начинала радоваться, ей тут же приходили на ум ее дорогие психи, и она в тайне ото всех колола себя до крови ножом в ладонь, чтобы прийти в чувство, и на следующий день, опустив голову, ругая себя, почти покаянно шла в лечебницу.

Сегодня она пришла сюда к Павлу.

3

Впервые она увидела этого Павла в электричке, когда ездил в райцентр переоформить пенсию. В холодном вагоне было малоллюдно. Безучастные друг к другу пассажиры оживлялись, только когда в вагон входил инвалид с гармошкой или те, суетливые, которые изображали погорельцев... Никитична заметила сидящего недалеко от входной двери бродягу. Седеющие пряди жирных волос спускались ему на лицо. Казалось, что он смотрит в окно, но по напряженному затылку Никитична поняла, что он прислушивается к разговорам в вагоне. Вдруг, оторвавшись от мелькавшего перед ним пейзажа, он резко обернулся, и Никитична увидела оплывшее лицо с синюшными отеками и глаза, которые показались ей и веселыми, и злыми. В ответ она приветливо улыбнулась.

И тут бродяга сказал:

– Вот, мамаша, все потерял. Все, что было нажито непосильным трудом. Не поможете ли?

И Никитична отдала ему то, что было у нее в кошельке.

Спустя несколько дней, проходя мимо железнодорожной станции, Никитична заметила этого бродягу. Он сидел на тротуаре, подложив под себя какую-то газету, а рядом с ним стоял сержант, тот, безразличный, который обычно ходил по вагонам вместе с ревизорами. Сунув руку за пазуху бродяге, но, видимо, ничего не найдя, сержант прохрипел ему что-то на ухо и вдруг ударил ногой в живот. Бродяга повалился на бок, поджал колени к животу. закрыл голову руками.

Никитична бросилась к сержанту.

– Это же больной! – закричала она. – Его надо в больницу доставить, а вы бьете.

Сержант знал Никитичну, помнил, как она ходила когда-то по вагонам, прося на содержание психов в местном стационаре. Сколько раз он собирался запретить ей это, но как-то все не решался. И вот сейчас, едва увидел Никитичну, почему-то отпрянул от бродяги, словно ему стало стыдно. Взяв того за шиворот, он повел его к УАЗу и впихнул в заднюю дверь, кивнул Никитичне, чтоб та села рядом с ним на переднее сидение.

Доставленный в лечебницу бродяга казался действительно невменяемым. На вопросы медперсонала отвечал плаксивым голосом, повторяя одну и ту же фразу: «Все потерял» и заискивающе смотрел на окружающих. Однако ни на кого здесь, кроме Никитичны, он не произвел впечатления. Владимир Николаевич лишь скользнул глазами по новому пациенту и тихо спросил Никитичну: «Откуда ты привезла этого мазурика?» Но в глазах Никитичны была такая мольба, что Владимир Николаевич, обращаясь к сержанту, устало произнес:

– Ладно, ведите его ко мне в кабинет.

Так в стационаре появился новичок Павел.

«Поступил по скорой», – написал Владимир Николаевич вверху медицинской карты и подчеркнул эти слова. Про себя же пробурчал: «Жалеет всех Никитична, а меня кто пожалует?»

Никитична вошла в палату и прикрыла за собой дверь. Из угла в угол ходил Виктор. Худой, высокий, с несуразно длинными руками и, как всегда, в меховой, детской шапочке с ушами. Он совсем не изменился за те годы, которые его знала Никитична. Казалось, что он не имел возраста. Но стоило подойти поближе, все становилось на свои места: судорога, сжав однажды, навсегда исказила его лицо подобием улыбки. К своей шапке он относился как к живому существу. Все время гладил ее и бормотал: «Красивая. Какая красивая». Как-то он даже шепотом рассказал Никитичне, что иногда его шапка поет, словно ангел.

У забитого тесом окна стоял Степан и ковырял доску пальцем. На понурых плечах Степана мешком висела грязная фуфайка с названием именитого футбольного клуба. Эта фуфайка была Степану дороже родной матери, и носил он ее так, словно это был генеральский мундир. Обычно, увидев приближающегося санитаря, Степан кричал: «Не тронь меня!» и, вставая в бойцовскую стойку, начинал пыхтеть, прыгать по палате, выбрасывать кулаки, изображая нападение, но никого не разу не только не ударил, но даже и не задел. Повернувшись к вошедшей в палату Никитичне, Не-Тронь-Меня улыбнулся ей и вновь вернулся к своему занятию.

Никитична подошла к кровати, на которой сидел Павел. Еще тогда, в электричке, он показался ей образованным человеком. Чем-то напомнившим спившегося учителя. И вот сегодня едва она вошла, он тут же низко поклонился ей, усадил на кровать, взял руку, долго разглядывал ладонь, а потом тихо произнес какие-то странные слова. «Это, мать, латынь, – самодовольно усмехнулся он, – времена, – говорю, – меняются, и мы меняемся с ними. Ну, принесла мне бумагу?»

Никитична протянула ему папку. Усмехаясь, Павел четким, почти каллиграфическим почерком вывел на обложке «Жизнь Павла».

– Вы слово «царь» пропустили, – подсказала Никитична.

– Ну что же, можно и царя вставить, – согласился Павел и вдруг загоготал. Потом после слова «жизнь» он поставил галочку и сверху написал: «царя».

Тут дверь в палату открылась, и санитарка скомандовала:

– Мальчики! Обедать!

Однако никто из больных, находившихся в палате, не обратил на нее внимания. И только после того, как на пороге появился играющий желваками на смуглом лице Алексей, все тут же покорно гуськом потянулись в столовую.

Последним поднялся Павел.

– Подождите. Вот это вам, когда работать будете. Это еще учителя мне советовали, когда дети учились. Говорили для соображения полезно, – робко заметила Никитична.

С этими словами она положила перед ним шоколад на тумбочку.

Павел, с недоумением глядя на нее, пожал плечами, усмехнулся и вышел.

4

Екатерина Гудкова маялась, ожидая конца рабочего дня. Наконец, повесив амбарный замок, она быстро пошла по улице. Лицо ее, словно осененное каким-то презрением ко всему сущему, было решительным и твердым.

Подойдя к дому брата, сложенному из такого же самодельного кирпича, как и другие местные постройки, она тут же по-хозяйски распахнула дверь и прямо с порога заорала:

– Что у вас в психушке еще за писатель такой объявился?

– Откуда информация? – спросил Алексей, отрываясь от телевизора и тяжело поднимаясь навстречу сестре.

– Никитична какую-то папку ему несла. Ты мне эту папку принеси. Хочу знать, что он там пишет. Смотри, до чего у них дело дошло, психи историю переписывают.

Заметив рядом с Алексеем на столе кулич и крашеные яйца, она насмешливо взглянула на него, как когда-то в детстве, и спросила:

– Алешка, а это еще что такое?

– Да вот Валентина испекла, – словно оправдываясь, промямлил Алексей.

– А ты что же, подкаблучник, смотришь? Думаешь, поможет вам ваш бог?

И еще раз, с усмешкой посмотрев на брата, хлопнула дверью.

Для Никитичны, несмотря на всю строгость ограничений, Страстная неделя всегда была самой светлой и желанной. Она читала Апостолов, Псалтырь, Евангелие, вычитывала вечернее и утреннее правило, не притрагивалась к скоромному, полночи стояла на коленях перед иконами. В чистый четверг белила печь, очищала от застаревшей копоти потускневший светильник, перемывала чугуны и посуду, делала пасху, пекла куличи, красила яйца. Каждый раз ей казалось, что она не сможет осилить то, что делала, но, однако, делала и удивлялась, откуда брались силы.

В ее селе по праздникам было принято разбирать одиноких больных по семьям. И теперь, когда этот обычай канул в Лету, ей захотелось вдруг взять на Пасху кого-нибудь из больницы к себе. Она подумала о Викторе, Не-Тронь-Меня, Павле. Первых двоих она бы кормила, а Павел мог бы спокойно взяться за написание своей истории. Уж она бы обеспечила ему уход и покой.

Почему-то Никитична была уверена в том, что Владимир Николаевич не сможет отказать ей в этой просьбе.

В Великую пятницу Никитична отправилась в больницу.

Все окна больничного барака были открыты настежь, и санитарки с мокрыми тряпками мыли стекла.

По пустому коридору Никитична подошла к кабинету главного врача, постучала, однако на стук никто не ответил. Никитична удивилась, что Владимира Николаевича в это

время нет на месте. Но, подумав, что, очевидно, он где-то на территории, отправилась на больничный двор. Едва вышла, как столкнулась с Алексеем. Увидев Никитичну, Алексей попятился. Это показалось Никитичне странным.

Да и вид Алексея, который был чем-то встревожен, удивил ее.

– Алеша, а где же Владимир Николаевич? – спросила Никитична, отметив про себя особенность санитары – смотреть иногда мимо собеседника, как бы прятать глаза.

– Уехал на Пасху в Вышу. Помолиться. А может, новое место для стационара присматривает. Нас ведь скоро прикроют. Небось, слыхала?

Никитична спросила, кого же Владимир Николаевич за себя оставил, и Алексей, как-то странно улыбнувшись и посмотрев по сторонам, неожиданно воскликнул: «А меня!» На его лице, обычно скучном и неприметном, вдруг появилась детская, глуповатая самодовольная улыбка, которую он изо всех сил пытался заменить выражением начальственной значительности.

– В общем так, Никитична, в палаты к психам сегодня не ходи. Там уборка, наследись.

На просьбу Никитичны отпустить к ней на Пасху Виктора и Павла Алексей, округлив глаза, ответил решительным отказом.

5

«Почему Владимир Николаевич не сказал мне, что собирается в Вышу?» – тревожно спрашивала себя Никитична.

Обычно перед поездкой в Вышу Владимир Николаевич приходил к ней домой и приносил какое-нибудь лекарство.

– Вот, – говорил он, – лекарство тебе, швейцарское. Попринимай.

– Да я, Владимир Николаевич, на здоровье не обижаюсь. Это не дай Бог дожить до таких лет, чтоб здоровье потерять.

– Попринимай, попринимай, – говорил Владимир Николаевич, – организму помогать надо, – и протягивал глянцевую упаковку Никитичне. Та благодарила и убирала его в свой сундучок.

Когда же при встрече Владимир Николаевич спрашивал, принимает ли она лекарство, Никитична утвердительно качала головой, а Владимир Николаевич недоверчиво спрашивал:

– Ну и сколько раз в день пила?

И слышал всегда один и тот же ответ:

– А сколько надо, столько и пила.

Владимир Николаевич приходил всегда какой-то бледный и говорил, что оброс грехами, что пора ехать в монастырь, пора исповедоваться, причаститься.

Никитична тут же доставала заранее заготовленные записки и деньги. Владимир Николаевич брал и то, и другое, потому что как-то услышал от Никитичны:

– Это я не тебе, это я Богу даю, – и понял, что спорить с Никитичной бесполезно.

Потом он садился за стол, и тут же к нему на колени запрыгивал кот. Владимир Николаевич гладил его и пил чай, а попив чая, вставал, осторожно снимал кота и, положив записки с деньгами в портфель, надевал плащ, берет...

Никитична вспомнила, как однажды Владимир Николаевич, увидев ее за прялкой, спросил:

– А четки мне сплести сможешь?

И она сплела, соединив две плотные нити в одну...

– Что ты тут околачиваешься? – вдруг услышала она за спиной голос санитарки Евдокии. – Все высматриваешь, а ничего не видишь. А здесь такое творится!

– И что же здесь творится? – спокойно спросила ее Никитична.

– А то... Вчера я иду по коридору, заглянула в палату, а там твой писатель что-то рисует, а вокруг него стоят психи и гогочут. Я было туда, да меня Владимир Николаевич в сторону отодвинул. Подошел к твоему писателю, взял у него из рук папку, посмотрел, посмотрел и говорит: «Я тебя, подлеца, выписываю, чтоб духа твоего сегодня же здесь не было». Забрал эту папку, сунул себе под мышку и пошел в кабинет.

Ну а Павел-то этот, как Владимир Николаевич вышел, и зашипел ему в след: «Сука ваш врач! Ладно, сам напросился!»

– Путаешь ты что-то, Евдокия, – дрогнувшим голосом произнесла Никитична, – он ведь не рисует, он историю пишет, про нашего царя.

Евдокия усмехнулась и бросила через плечо:

– Дурой была, дурой и помрешь. – Плюнула и пошла прочь.

6

Оглядываясь по сторонам, Алексей подошел к кабинету Владимира Николаевича. Переминаясь с ноги на ногу, подергал дверную ручку. Дверь неожиданно открылась.

Войдя в кабинет, он сразу заметил связку ключей, висевшую на гвозде у входа. Одним из них быстро открыл верхний ящик стола и увидел папку, ту самую, на которой было написано «Жизнь царя Павла», и сунул ее под брючный ремень. В том же ящике лежала пачка больничных бланков с печатями, часть которых он распихал по карманам. Так, на всякий случай, для какого-нибудь полезного дела. Глаза санитаря натолкнулись на бронзовый бюст, стоявший на углу стола. Подумав о том, что за такой в скупке дадут хорошие деньги, схватил и тут же отдернул руку: «Во что бы завернуть?» Стал шарить по кабинету глазами, и вдруг его взгляд остановился на темной шторе, висевшей на одной из стен. Подошел, сорвал. Под тряпицей в толстой деревянной раме оказалась картина, написанная масляными красками. В центре – мужчина средних лет в какой-то военной форме, с бородой, задумчивый взгляд, рядом с ним – светловолосая женщина с узким строгим лицом, у ног мужчины – мальчик лет двенадцати в матроске, а вокруг девушки в белом. Алексей переводил взгляд с лица мужчины на женщину, мальчика, девушек и обратно. Все они были разные, но как все они не похожи на тех людей, которых когда-то

видел и помнил санитар Алексей. «Никак царь с семьей?» – подумал он. Не отрываясь, Алексей смотрел на картину. И вдруг перед ним всплыло лицо Павла, когда тот... с горящими глазами, расплывшееся в злой улыбке, страшное... Мороз побежал у него по спине, и он выскочил из кабинета.

Катерина открыла дверь на удивление быстро, будто стояла за дверью.

– Вот, возьми, – Алексей сунул ей в руки папку и сказал охрипшим от волнения голосом: – Видишь, принес.

– Еще бы ты мне не принес. Давай сюда.

Она уже была готова открыть ее, но что-то, видимо, помешало. Взглянув на Алексея, который все еще топтался на пороге, спросила:

– Чего стоишь-то? Иди. Свободен.

Но Алексей не ответил. На него опять нахлынул страх:

– А что если он меня пришьет? А что, ведь он может, он и не такое может. Подкараулит, как главного. Чтоб свидетелей не было. А что... может. Этот и не такое может. Бежать надо. Спасаться. – рассуждал про себя Алексей.

А Катерина уже плескала ему в стопку из початой трехзвездочной бутылки с коньяком, с золотыми медалями на этикетке.

– Выпей и не дрожи.

Алексей взял стакан, но пить не стал, вернул стакан Гудковой и, побледнев, со словами:

– Все равно не поможет, – выскочил из комнаты.

– Вот дурдом-то! – крикнула вдогонку брату Гудкова. Закрыв дверь на щеколду, она торопливо подошла к столу, бросила на него папку, раскрыла ее и вдруг захохотала. – Ну, так и есть! А я ведь еще сомневалась, поверив этой старухе. Как же, историю они

переписывают. Вот вам и история. Мужики с бабами в позах. Придет ко мне эта Никитична. Я покажу ей. Пусть посмотрит.

И, покрасневшая, она выпила из Лешкиного стакана, налила себе еще, еще выпила, а потом, ухмыляясь, повалилась навзничь на неразобранную постель, что-то бормоча себе под нос, то и дело срываясь на хохот...

7

Никитична в эту ночь так и не смогла уснуть. Ее мысли перескакивали с настоящего на прошлое и обратно. Никак не могла поверить Евдокии, зная ее злой язык, и понять, почему Владимир Николаевич ничего не сказал ей о своей поездке в монастырь.

Когда на дворе забрезжило, в окно Никитичны постучали.

Отодвинув занавеску, Никитична увидела пьяную Гудкову.

Подошла к двери, откинула крючок.

– Что так рано? – спросила она, открывая дверь.

– На! Полюбуйся! – Гудкова сунула Никитичне знакомую папку. – Писатель-то твой, оказывается, художник!

Открыв папку, Никитична некоторое время оторопело смотрела в нее, потом, вдруг быстро захлопнув, вернула Гудковой.

– Здесь какие-то гады морские.

– Нет, Никитична, это люди. Художества твоего Павла.

Гудкова еще что-то возбужденно говорила ей, размахивая руками, то и дело срываясь на смех, но Никитична смотрела на нее так, словно ее и не слышала.

Наконец Гудкова устала и, махнув рукой, пошатываясь, пошла прочь, а Никитична, тяжело вздыхая, оделась и вышла из дома.

Туман от Вынцы касался косматой прошлогодней травы. Река бурлила, по-прежнему принимая в себя мутные потоки талого снега. Никитична прошла почти по воде, заливавшей прогнившие мостки, и уже подходила к железной дороге, когда почувствовала в ногах слабость.

Она увидела, что на станции стоит почтово-багажный поезд, около одного из вагонов мелькнуло знакомое коричневое пальто, черный берет, портфель. Она уже хотела закричать: «Владимир Николаевич, куда же вы?» Но поняв, что ее вряд ли услышат, только прошептала это.

Поезд свистнул будто на прощание, и Владимир Николаевич оглянулся. Никитична увидела лицо Павла. Одутловатое. Злое. Их глаза встретились. Павел тут же вошел в вагон и закрыл за собой дверь.

Поезд набирал скорость. Мелькали грязные в подтеках окна, за которыми разглядеть что-нибудь было невозможно.

Проводив глазами поезд, Никитична побрела в сторону больницы... Пройдя немного, остановилась, чтобы перевести дыхание, и вдруг заметила в зарослях примятого папоротника что-то темное, грузное. Подошвы ботинок со следами красной глины, кисть белой откинутой в сторону руки со знакомыми четками из спряденной ею когда-то давно пряжи, ворох скомканных листков бумаги. Никитична подошла поближе. Подняла один из них и тихо ахнула: «Это же мои заупокойные записки!»

И тут все вокруг замерло, и Никитична услышала вдруг тишину и удивилась. Она удивилась тому, что поле, которое еще утром было черным, стало золотым. «Как, подсолнухи?! – прошептала она. – Неужели подсолнухи?» Еще не зная, что с ней происходит, она распрямилась и обернулась. За полем на высоком холме белела их Спасская церковь, разрушенная еще в ее детстве, старое кладбище вокруг церкви пестрело золотыми крестами. И по тропе от церкви навстречу ей шли какие-то девочки в белых кружевах и мужчина весь в белом и в фуражке с золотом. Но самым удивительным было то, что вместе с ними шел ее комиссар. Курчавый. Смуглый. Молодой. Он смотрел на Никитичну и смущенно улыбался, как тогда, первый раз, когда она его увидела. Владимир Николаевич шел рядом с ним, перебирал четки и смотрел на Никитичну так, будто просил за что-то прощенье... А за ними мужики, бабы, дети... Никитична увидела среди них мать, отца, мужа... И стало ей так легко, так радостно, что она засмеялась, побежала к ним

навстречу, ощущая в теле сладкую невесомость. Она заметила, что кисти ее рук стали маленькими, как у девочки, а кожа на них нежной и плотной. «Как в молодости», – радовалась она... А вокруг пели жаворонки. И вдруг она услышала: «Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас».

Москва